

Омск — это западно-сибирский провинциальный город. Большой, бестолковый и загазованный. С ноября по апрель — снег, с апреля по ноябрь — пыль. Минус сорок — зимой, плюс сорок — летом. Степные суховеи, и вечно грязная, взлохмаченная река. Омск — это моя родина, любви с которой у нас не сложилось. Слишком много тому было причин.

Омск — это моё детство. Развод родителей в возрасте трёх лет. Их борь-

ба за нашу с братом любовь. Ночные кошмары. Любимая мама и любимый папа, навсегда разделённые во времени и пространстве. Это — деревня летом, с бабушкой и дедушкой. С природой, свежим воздухом, с грозами и ливнями, под которыми так страшно и весело было бегать, промокая до костей. Это — щедрые и вкусные огороды, пестрящие всеми цветами радуги. Душистое парное молоко вечерами и ещё тёплые кремовые слив-

ки. И, взбитые бабушкиными натруженными руками, огромные перины-пуховики, и плотно закрытые на ночь ставни. И сладкий сон. И счастливое солнечное пробуждение под будоражащий ноздри, знакомый любимый запах. Запах пышных немецких крэблей — булочек, которые только бабушка могла печь — горячих, воздушных, хрустящих, тающих во рту, и кружка жёлтого молока. И томительное ожидание папы по выходным у дороги, и, наконец, огромный чёрный «ЗиМ» в кучерявых клубах пыли, и первые мужские объятия, и запах пота и бензина, и чего-то ещё, любимого, чему не было названия. И такая красивая мама, всегда появляющаяся как праздник — нарядная, смеющаяся, пахнущая духами «Красная Москва» и чем-то ещё, чему тоже не было названия, но отчего почему-то так сладко щемило сердце...

Детство — это любовь. Очень много любви. И очень много боли. За маму, за папу, за страдающего старшего брата, за стареющих бабушку и дедушку, за себя. Любовь и боль, переплетаясь, выткали полотно моей навсегда ранимой, трагично-неустроенной души, вечной тоски по совершенству. По тому, как на самом деле должно быть, чтобы все были счастливы.

Детство — это основа всех основ, фундамент, на котором потом, взрослая, мы будем строить что-то своё. Но всегда исходя — благодаря или вопреки, так или иначе, но всегда — исходя из детства.

Мои любимые (Ваня и Володя) встречали меня в аэропорту. Весёлая, румяная, с бьющей через край энергией, дочь, и сдержанный улыбающийся муж. На ярко-красной машине мы покатали домой, рассекая невзрачное захолустье города. В квартире всё было по-прежнему, и это почему-то ранило. Мне здесь плохо и хорошо одновременно. Всё отделано моими руками. Сшиты занавески, расставлена посуда. Вспомнила, как радостно, с надеждой трудилась над каждым уголком этого дома, а прожили мы в нём все вместе только год. Везде оставлен кусочек души. И чем больше было слёз при расставании, тем больший кусочек души оставлен...

Начало, как всегда, бурное, шумное, с подарками и торопливыми рассказами, с ежеминутными объятиями и звонкими поцелуями. Дочь счастлива, заполучив папу с мамой одновременно. Мечется от одного к другому, захлёбываясь от восторга. Потом мы едем в театр: ужинать и смотреть Володин спектакль. Там ещё никто ничего не знает, мы — семья. Я сижу в первом ряду, нарядная, красивая, смотрю на сцену и чуть не плачу. И понимаю, что, наверное, это не кончится никогда. Что любовь к нему, однажды оккупировавшая моё сердце, постепенно материализовалась в нём, сформировавшись во вполне конкретный физиологический добавок к органу. С которым теперь, хочешь-не хочешь, жить всегда.

У Ваньки были весенние каникулы. Мы вдоволь высыпались, потом

шумно возились на кухне, поджидая бабушку. Мама в эту зиму жила со своей тёткой, а заодно помогала Володе с Ванюшкой. Хотя на самом деле у неё как бы наличествовал муж. Замечательный человек с золотым сердцем. Мой любимый отчим, с которым жили с тринадцати лет, Саныч, как коротко мы с братом его называли. Законченный пессимист, не умеющий радоваться жизни как таковой, без условий. Человек добрейшей души. Мой муж назвал его как-то «божьем человеком», а Володя комплиментов напрасно не раздаёт. Беда была в том, что он пил. Думаю, алкоголизм был зачат в нём самой природой, а с природой много не поспоришь. Сколько мама не билась, каких только ультиматумов ему не выставляла, даже разводом пригрозила — всё было бесполезно. А ведь он любил её. Шёл из ЗАГСа после расторжения брака и плакал. Жить они остались на одной территории, но она почувствовала себя по-другому. Вставила замок в дверь своей комнаты и закрывалась, когда тот напьётся. А если сильно бушевал, обещала вызвать милицию. Не то, чтобы он мог обидеть, но страшно утомлял, матерясь в склочном общении с самим собой, и громохая, чем придётся. А в последние год-два на него ещё обрушилась распространённая возрастная мужская болезнь — сушая беда для настоящего мужчины. И это подкосило его окончательно. Совсем поплёк бессмысленный мир, и приобретал хоть какие-то краски лишь

после доброго стакана водки. Мама всё чаще уезжала. В основном, в Петербург — помогать мне с дочерью, а сейчас вот — и в Омск...

У меня здесь было ещё одно важное дело — побывать на могиле отца, который умер годом раньше. Всё это — страшное и трагичное — лучше не ворошить. До сих пор я не в силах развернуть перед собой ту невыносимую картину, которую мудрый организм скрутил, как холст и запрятал в самый укромный уголок.

На кладбище я поехала с любимой тёткой Милей и её сыном Димой. Машину оставили у ворот и пошли к могиле, проваливаясь по колено в снег. Милька тогда ещё сказала, что зря мы это затеяли, плохая, дескать, примета — оставлять следы на снегу на кладбище... Уже был поставлен памятник. Я упала в снег на колени, заплакала. Год назад мы его хоронили — лупило яркое апрельское солнце — беспощадно и жизнеутверждающе. Удары молотка, забивающие крышку гроба, сотрясали мозги, и я, закинув голову к небу и заливаясь слезами, кричала: «Нет! Нет! Не надо! Это — неправда. Этого не может быть!» Потому что просто не должно быть. В этом великий и чудовищный абсурд жизни.

Мне страшно захотелось водки. Много водки. Но Милька молча нацедила четверть стакана, дала закусить. А потом мы сели в машину и поехали в деревню, где нас ждали за накрытым столом бабушка и одна из её дочерей, Милькина сестра — Маша.

Многих уже похоронила моя девяностолетняя бабуля. И мужа (дед умер давно), и первого сына, и вот уже и второго, самого любимого. Ходила с палочкой, крепко цепляясь за ручку, пыхтела, постанывалала, но до сих пор помаленьку трудилась.

Этот дом привезли издалека срубом и практически возвели его заново. И к одной из сторон папа пристроил себе комнату, чтобы на старости лет заниматься здесь пчёлами. Я сидела в ней и плакала. Не дано ему было стать старым. А на его кровати сейчас спал чужой пьяный мужик, Машин сожитель, и громко храпел, выводя замысловатые рулады. Жизнь — это трагикомедия. Грубый фарс. Мой отец — сильный и властный мужчина, бесстрашный и всеми уважаемый. Здоровяк, труженик, хозяин. Гигант, в своём роде. Болезнь скрутила его в одночасье, на глазах превратив из здорового красивого мужчины в жалкую развалину, на которую страшно и больно было смотреть. Он умер первого апреля, в день смеха. Так жизнь, играючи, поставила на нём точку.

Когда выпила — полегчало, но всё уже изменилось с уходом папы. Навсегда потеряла любимая деревня особый аромат, аромат детства. Шумных посиделок, где он всегда возглавлял застолье, с песнями, спорами и смехом. Откидывал назад голову с пышной, вьющейся шевелюрой и хохотал — залиvisto, заразительно. Самым мучительным после его смерти было именно то, что я никог-

да больше не увижу его лица, не услышу этого смеха и голоса, которым он, вдохновенно и глубоко трагично, пел любимый романс: «Умру ли я, // И над могилою, // Гори, сияй, // Моя звезда»... Расколотся мир. На до и после. Тогда было с ним, а теперь — без него. Что-то кончилось, самое главное. Осиротела семья. И я всё лепилась к бабушке, и целовала да гладила её сухие, сморщенные руки. Этими руками она когда-то выпестовала и вырастила одну из самых больших любовей в моей жизни — моего отца.

Пьяные слёзы принесли облегчение. Уже не так больно было вспоминать, смеялись даже. Жизнь всегда берёт своё. Шумно и весело убирали со стола. Бабуля сидела на табурете, крутила головой в разные стороны, как петух на шесте в курятнике. Но куры уже не слушались, выросли куры...

— Она все распоряжения отдаёт, думает, её кто-то слушает, — смеялась Милюшка, но бабушка давно потеряла слух, — свои рядом, радуются чему-то — и хорошо.

У печи примостились несколько кошек, привалившись друг к другу и создавая собой почти скульптурно-художественную композицию.

— Как они красиво сидят! — умилилась Маша.

— Дайте им пинка, — ворчливо советовала бабушка. — Расплодились тут, кто кому кем приходится — не пойму.

Тепло, мило, любимо всё и — больно. Больно навсегда.

Захотелось в город, в театр, к дочери. Даже к мужу, пусть лучше такая боль... Только подальше отсюда, где всё так оглушительно и звонко кричит о скоротечности жизни.

Дима заводил машину. Прощались основательно и, казалось, надолго.

А когда отъехали от двора, я смотрела на машущих вслед бабушку и Машу и уже отчётливо понимала: больше сюда не вернусь. Хотя откуда мне было знать, что через год Маша с бабушкой переедут в Германию, продав дом моего детства за гроши.

А спустя ещё два года, Дима, Димочка — тридцатилетний красавец, умница и добряк — погибнет до чу-

довищного нелепо. Перевернувшись в трайлере и попав в польскую больницу с переломом руки, он умрёт через неделю оттого, что образовавшийся неизвестно как тромб вдруг пойдёт в лёгкие. А его мать, моя любимая тётка Миля, двинется умом, не смирившись со смертью сына. И перессорится со всей роднёй, очутившись в конце концов в жёстком коконе одиночества.

И не более чем через неделю мне приснится папа и предупредит о надвигающейся в моей жизни страшной беде, только тогда я, конечно, ничего не пойму...